



БРАТЬЯ

Как-то я видел Назара Марутяна раздетым по пояс и поразился. Юрий Власов, так сказать, образца шестидесятого года. Мощный торс, бычья шея, набухшие жилы на руках. А бицепсы прямо ходуном ходили. Спросил я тогда Назара:

— Каким спортом занимался?

— Сено косил, дрова рубил, пахал, деревья сажал, навоз таскал из коровника в огород. И все это с тех пор, как себя помню. Детей растил да дом строил, когда уже бриться начал.

Назар приходится младшим братом моему тестю, Ерванду Марутяну. Как-то тесть уговорил меня хоть с недельку провести лето с детьми в деревне у Назара, и я, что называется, с ходу полюбил этого очень сильного человека, который в присутствии своего старшего брата не смел первым слово сказать. Вообще, есть у армян такой милый и в чем-то жестокий закон: младший брат до конца своей жизни, если даже он стал самим царем, должен помнить, что он брат младший.

В последние годы тесть довольно часто ездил из города в деревню. Не только скучал по брату. Мать их часто болела, и Ерванд боялся, что вот-вот случится беда, и не дай бог, если он не окажется рядом с младшим братом в горе. И когда девяностодвухлетняя женщина умерла, старший сын был рядом. Собственно, он и не отходил от матери все ее последние дни. Узнав о кончине, я тотчас же выехал в деревню к Марутянам. Ехал и все думал о том, что ушла из жизни не какая-нибудь там древняя старушка, которая вырастила двух сыновей, четырех дочерей. Она давно запуталась в именах своих внуков и правнуков, которые стаями бегали по всей деревне. Я подумал и о том, что ушел из жизни родной мне человек. Потому что она моим детям приходится родной прабабушкой. Такая вот тонкая, но прочная связь времен.

Умерла она тихо, спокойно, не принеся никому никаких хлопот. Умерла как жила. Как все добрые люди. Молча. Именно об этом говорил вечером за столом Назар. Я обратил вни-

мание, что, несмотря на присутствие старшего брата, Назар без конца говорит и говорит. За просторным тяжеловесным столом, накрытым цветастой клеенкой, сидели мужики, большей частью небритые, многие в головных уборах. Молодые женщины бесшумно подавали чай. На столе в двух блюдечках возвышались белые горки мелко наколотого кускового сахара. Не успевал новый гость устроиться за столом, как перед ним ставили стакан крепко заваренного чая. Пили чай молча. Слушали Назара. Он говорил о матери. Все уже приготовлено. Еще утром Назар зарезал быка, двух баранов. По обычаю вся деревня соберется на поминки после похорон. Во дворе женщины, стараясь не шуметь, колдовали вокруг наспех сложенных очагов, на которых стояли огромные казаны. Так что Назар знал, что все идет, как надо. Что завтра каждый будет заниматься своим делом, ибо каждый в деревне в такие дни хорошо знает свое место. Гроб с телом матери будут нести на руках до самого кладбища, которое находится довольно далеко от дома, на вершине голой сопки. На всем пути процессии около каждого дома у самой дороги будет стоять стол, накрытый полотенцем. Это знак внимания к усопшему. Это предложение остановиться, поставить гроб на стол и постоять минуту у очага, где склоняют голову перед памятью человека, который больше уже не пройдет по этой улице, не войдет в этот дом. И не только поэтому. Кладбище далеко. Не так уж легко тащить на плечах гроб по неровным деревенским улицам, особенно в ненастный слякотный день. Вот и сохранилась сама мудрость в веках. Поставят гроб на стоящий у края дороги стол и отдохнут малость.

Знал Назар и о том, что пока он рассказывает гостям о последних днях матери, пока женщины бесшумно и незаметно меняют пустые стаканы на полные, в соседнем доме накрывают на стол. Люди приехали издалека, надо их кормить. И не только. Надо распределить гостей по домам на ночлег. И так же бесшумно, незаметно.

Чем больше говорил Назар, тем больше, казалось, он успокаивался сам. Старался вспоминать веселые случаи.

— Привезли мы из города, — рассказывал Назар, — вместе с моим племянником Фридоном, отцом шестерых дочерей, по два мешка репчатого лука. Я притащил мешки домой и с гордостью показываю матери большие, как арбузы, луковицы. Она лукаво смотрит на меня и едва слышно говорит, что к середине зимы придется за луком сходить к Фридону. Я пожи-

маю плечами и спрашиваю, мол, чего это ради мы должны ходить за луком, если он тоже привез два мешка, если у него дома не меньше душ, чем у нас. А мать твердит все свое, мол, она хорошо знает Фридона и что тот вряд ли купил такие большие луковицы. Умный человек должен думать, когда делает покупки. Лук нужен для того в основном, чтобы, зажарив в масле, добавить в суп и вообще — в любое блюдо. Иначе будешь чувствовать вкус и запах масла. А много ли надо луку? Каждый раз чуть-чуть. Отрезал от большой луковицы дольку или даже взял половину, остальное портится, вянет. Так что куда выгоднее небольшие луковицы. И что вы думаете, к середине зимы, когда нигде в магазинах, даже в городе, не было лука, я вынужден был сходить к Фридону. Мать видела мой позор, но виду не подала. Мать как-то терпела, даже прощала, когда в крестьянский дом привозили лук из города. Но не могла понять, отчего в деревню привозили мясо, масло, сыр из города. Она говорила, что тут что-то не то, что-то не так. И все повторяла, что так долго продолжаться не может, ибо протivoестественное не может продолжаться долго.

По просьбе матери на просторном балконе второго этажа своего дома братья сварганили широкую тахту у самых перил. Здесь мать проводила все свое время, наблюдая за жизнью окрест. А вид отсюда отменный. Все — как на ладони. Старая женщина, бывало, позовет одного из внуков и прикажет сходить к тому или иному кусту, чтобы подобрать яичко, которое только что снесла курица. Увидит, как робко, оглядываясь по сторонам, гуляет какая-нибудь парочка, и уже ведет в голове расчет, когда и в каком доме будет свадьба. Старший сын, всякий раз навещая мать, шутил, мол, забралась слишком высоко, поближе к Богу. На что мать отвечала: «Это вы, антихристы, говорите о Боге, а я говорю с Богом».

Поздно вечером всех приезжих издалека пригласил к себе домой Фридон. Небольшого росточка человек с большими добрыми глазами. Гостей он принимал охотно. Об этом говорили не только добрые глаза, но и богато накрытый стол. Казалось, все, что припас на зиму отец шестерых дочерей, все велел выложить на стол. Кто-то из гостей завел почему-то разговор о том, что, мол, не все наши обычаи хороши. К человеку приходит несчастье, тут бы сделать все, чтобы успокоить семью, облегчить горе, а получается наоборот. Одни хлопоты, расходы! Да какие! Люди ели и высказывали свое мнение. Не очень-то спорили. Скорее, пожимали плечами, мол, не нами заведено,

не нами будет отменено. Молчавший до последнего Назар тихо сказал:

— Все идет правильно. Если хотите, это делается не для покойного, которому уже все равно. Даже не для нас, взрослых, родных и близких. Все это делается для детей, для молодежи. Они должны чувствовать, как чье-то горе в одночасье становится горем для всех. Как без команды, без приглашения стекаются людские реки в очаг, где поселилось несчастье. Собираются, чтобы помочь живым. Чтобы разделить, раздробить горе на части, на куски. Ну и, конечно, нельзя расходиться по своим домам сразу после того, как родной всем человек стал родной для всех земель. Надо вернуться в дом, где жил человек. Чтобы дети и внуки видели, как взрослые умеют быть солидарными. Так что я должен накрыть столы. И накрыть на всех. На все село. Так надо. Чего уж думать о деньгах. Их не надо считать, когда воспитываешь детей. Пусть они послушают, как взрослые говорят за столом о покойном. С Назаром соглашались. Хотя кое-кто все же не очень мирился с размахом, с каким нынче отмечают поминки.

Молчал Ерванд Марутян. Мой семидесятилетний тесть с пепельно-белой головой не ел, казалось, и не слушал никого. Непривычно было это для всех, кто знал его. Бывало, не давал никому и рта раскрыть. Все спорил, все доказывал. А тут как-то сник. Успокаивали его. Он понимал, что девяносто два года — это, в конце концов, немало. И все равно не мог ничего поделывать с собой. Покойная мать жила у младшего брата, и, видать, наслаждался тот вдоволь материнской мудростью. А тут жизнь сложилась так, что Ерванд подался в город. Только иногда, улучив неделю-другую, навещал мать. Думал, что все еще впереди, что вдоволь еще наговорятся, будет еще долго чувствовать себя молодым и сильным, пока мать жива. Ерванд молчал.

Чтобы хоть как-то разговорить тестя, я попросил рассказать о его бабушке и дедушке по материнской линии. Тысячу раз он по поводу и без повода рассказывал о них. Тесть, не поднимая головы, тихо сказал:

— Не знаю почему, но сейчас я думаю не о родителях мамы, а о ее дядях. Да, да, были такие, как она часто рассказывала, у нее дяди, которые решили в нашей округе построить... тюрьму.

— Мрачная тема для воспоминаний, — сказал я.

— Ничего подобного, — уверенно продолжил он, — тюрьму они строили по договоренности с царским губернатором.

На свои средства. Один из них дом свой продал ради того, чтобы построить тюрьму. А все для того, чтобы соотечественников не отправляли в Сибирь. Говорят, где-то в России дорога одна есть, Владимиркой зовется. Так вот трудно сосчитать, скольких молодых людей спасали дяди нашей мамы от Владимирки. И мама всю свою жизнь вспоминала их добрым словом, наших двоюродных дедушек.

Тесть вспомнил, как однажды, когда он был еще маленький, когда Назара не было на свете, он пришел из школы домой и рассказал матери, что в природе есть такая бабочка, которая живет всего один день. Так она и называется — бабочка-однодневка. Мать ничуть почему-то не удивилась, а может, и удивилась, но виду не подала. Пожалела бабочку, сказала: «Ты представляешь, если такая бабочка родится в мрачный, пасмурный день. Для нее, выходит, вся жизнь будет мрачной и пасмурной».

Тесть все рассказывал, и я видел, как успокаивается младший брат, как сходит напряжение. Весь вечер Назар старался хоть как-то развлечь, отвлечь, что ли, старшего брата, и ничего у него не выходило. И вдруг воспоминания помогли. Уловив это, я уже не останавливался. Вспоминал все то, о чем он не раз за долгие годы мне в разное время рассказывал, и, притворившись, что забыл тот или иной эпизод, просил напомнить. Тесть мой — человек очень образованный. Окончил два вуза, работал и учителем, и редактором, и прокурором, и судьей, и нотариусом. И всякий раз, когда его перемещали или, скажем, доверяли новую ответственную работу, он приходил советоваться с матерью в деревню. Не то что советоваться, просто поговорить, поделиться, а может, и порадовать ее. И всегда она, словно забыв, что уже говорила в прошлый раз, повторяла одно и то же. И сейчас я просил вспомнить те слова, которые говорила ему его мама, прабабушка моих детей.

— Она всегда говорила, чтобы я никогда не обращался жестоко, несправедливо с людьми, которые от меня зависят, которые мне подчиняются. Что нельзя грубить человеку, который не может ответить грубостью. И еще всегда говорила, что приятнее для души и сердца отдавать, чем брать.

...В полдень, когда во дворе дома Марутянов собралась огромная толпа в ожидании выноса тела, раздался крик со второго этажа, где лежал гроб. Я услышал глухой плач тестя. Он плакал все громче и громче. Я поднялся по крутой деревянной лестнице. Старший сын, ухватившись двумя руками за гроб, не

давал, чтобы его выносили. Рядом стоял Назар, обняв своими могучими жилистыми руками за плечи старшего брата, который никак не мог успокоиться. Назар прижал ослабшее тело брата к своей широкой груди и тихо сказал:

— Ерван-джан, успокойся. Неудобно. Здесь находится человек, у которого третьего дня двадцатилетний сын погиб в автокатастрофе. А нашей маме — девяносто два года. Успокойся, родной мой, неудобно перед этим человеком, он слышит...

И Ерванд успокоился.